

Петр Кожевников

ХУДОЖНИК

Полиэтиленовым мешком с яблоками он обозначил переход от ничего к работе. Он ест сушеные фрукты, съест их и - начнет. Начнет ли? Но ведь что-то уже сделано и довольно много, хотя все это как-то так, точно начало, да и не начало, пожалуй, а подготовка к тому, чтобы начать.

Съест - и - начнет.

Большинство яблочных обрезков, превращенных в засохшие лепестки, имели на кожуре какие-то свои лишай и язвы, причем почти все куски попадались именно с кожурой и только два, совершенно не стеснявшихся своего вида, огрызка. "Где же мякоть?" - подумалось ему, а еще пришло в голову то, что также и люди, подобные эти^М, казалось бы, несъедобным яблочкам, находят свое место в жизни, обретая совершенно безжизненную форму.

Конечно я из тех, кто "делает вид". Да, именно так - делаю вид, что чего-то там изображаю, да и не изображаю, а совсем по-нищенски - могу. Симулирую потенцию. А есть ли? Что остались, коли не испытываю давно тех мгновений, которые ловишь безрезультатно, отторгнутые к тому, что вызвало их - ~~ши~~ углу балкона, за которым пустырь и дома с глазницами полыми, строящиеся (обратный порядок: от черепа, ослабившегося, к голове заселяемой), электричке, гул которой, приближение сулят тебе встречи неожиданные - с девушкой умершей: к ее окну прибегал ночью и сутился, зажав в ладони камушек: выходи!, ящеров из книг, любимых в детстве, существ по виду отнюдь не компанийских, но должных случиться сейчас вполне друзьями. И самое дивное, о чем нельзя говорить (но трепался, болтал же дурак!) - как летал, будучи птицей, но не только ей, а небом - красной беспредельностью над завалившимся солнцем - парил, зrimый собою же черной неопределенностью, в которой, кажется, угадывал контур.

Столько раз знал, ждал - жизнь оборвется: без участия моего, сама - такое должно наступить, потому что я - прожил, устал - болен. Было странно, когда стремление мое к здоровому уму, телу, больше телу, ибо оно та реальность, к которой можно (наконец-то!) прильнуть своим - телом, так вот - к телу стремился, веря, заряд его божественный и меня исцелит, но нет - было странно, когда жаждя моя встречала нечто, еще более большое, чем все мое, весь я - было странно!

Ночи белые. Они - скоро. Неподготовленным к ним оказываешься в этот год, как в прошлый, как - до него и - давно уже так неподготовлен.

Сегодня потеряна форма и, забавно, само желание что-либо изобразить — потеряны даже слова, но почему-то вожу пером, чирикаю, упиваясь знанием того, что необходимость моя застать около себя вдруг, внезапно, кого-то, превратилась в иное, в то, что происходит, и — теряются слова.

Днем, возвращаясь от своих, ударили человека. Не слишком сильно, но и не расслабленно, а именно так, чтобы понять — могу.

На вокзале. Шел с электрички. Как всегда в таких случаях, заметил его издали: валун лица в оперении более плотного по сущности колокола болоньи. Он шел, сталкивая встречных с их и своей траектории. Впереди пожилая чета. Протаранил. Я. Толчок во впадину между плечом и ключицей, Я — смещен. Двигается правым плечом (крылом своим) вперед — дальше. Выброшенный из ладьи своих странствий — останавливаюсь. Встречный читался вторым планом. Теперь, не занимая первый, своими действиями он пытался вызвать мои. Созерцая спину, я понял, что он вполне имеет в виду то, что ~~шиши~~ могу его окликнуть. "Эй, ты!" — "Чего?" — всей шириной плеч ко мне. Чем он занимался? Борьбой? Боксом? Тренер? Лет на десять старше. Чуть ниже. Возвратив секунды, я отчетливо увидел себя, удаляющегося. Захотелось окликнуть фигуру.

Какая-то речь. Моя и его. Угрожает. Мгновение, которое срывает предохранитель: знаю его, оно начинается, когда противник именно так смотрит — как? — не знаю — так без желания выстреливают детские ракетные установки, когда хранишь на них руку, перебирая детали, пока, невзначай, не спускаешь курок, что держит вытянутую пружину: намерение ударить не возникло во мне, рука помимо разума вылетела снизу и сбоку по дуге через верх, сбила его, причем, не сразу. Невычислимое время он стоял и, даже, смотрел на меня. Потом начал падать. Желавшие напасть первыми, руки дирижируют нечто-ничто, а сам (также "правым — вперед!") вращается, словно представляет тягучий материал, увлекаемый в воронку. Немая жалость — во мне. Молчу, когда тяжко подымается, словно он — другой, могущий, не задевая, пройти мимо, по частям собирает его — толкнувшего. Шатаясь, манит меня куда-то, где "разберемся". Иду, учитывая возможность атаки, мести. Сбоку кто-то: "Зря ты это сделал" — "А старииков сбивать?" — я неровным голосом, все еще готовый бить.

Я не направился в метро, а, сбитый с пути происшествием, миновал каравай станции и зашагал, не имея цели. Так, блуждая,

я забредаю в иные дни неизвестно куда.

Я шел с кем-то; впрочем, быть может, с самим собой, другим, который сопровождает порой меня в прогулках. Мы затерялись в каком-то безлюдье, где курсировали машины, повинуясь вспышкам драже светофоров. Окружающие здания со столь грязными стеклами, что видимость через них равнялась проницаемости стен, являлись, возможно, больницам, банями, тюрьмами, интернатами и всем прочим, что имеет один и тот же угнетающий психику вид. Безлюдность района не оживлялась, а подчеркивалась предположением, что в грохочущем транспорте запрятаны люди: мы каждый раз заново грустили по человечеству.

Проезд, как линия на погонах, делила черная двухмерность реки. Вода отражает небо — поднял я голову — небо оказалось неподражаемо голубым.

Мы свернули. Улицу пересекали параллели рельс, придавленные с двух сторон воротами. На каждую пару ворот у въезда прилепилась башня, в окне ее — голова, поделенная крестом рамы. Эта имитация жизни, также как и догадка о шоферах, напомнила пластмассовые куколки, приклевые к детским игрушкам.

Одни из ворот оказались распахнуты. Фигуры в них. Возятся около тележки. Вокруг катушки с кабелем, каменные глыбы. Ящики. По нашей стороне — стена. Решетки на ней с пиками. На одной секции, где нет ограды, смазанные следы подметок — лезли.

На пути машина и трое. "Что здесь?" — "Боткинские бараки". Сзади — шум. Догоняют двое из тех, что управлялись с тележкой. На ней — мешки. "Освобождаем шкафы в раздевалке. Стекла на семьдесят рублей", — один с улыбкой. У него плохо с зубами.

Еще поворот. С каждым из них улицы все короче, будто движение наше — отсчет от нуля. Здесь в домах раскрыты окна. Каждое — рот. Все они, распахнутые, наполнены сажей непроницаемости. Никого.

Еще поворот, и, проходя по совершенно малосенькой уличке, упираемся в многолюдный проспект с очередями и компаниями на углах и возле парадных. Магазины. Хочется зайти, хотя не намечено никаких покупок (и всего пять копеек — на транспорт), кафе, в окнах их сидящие и смотрят во вне, на улицу: "Мы — здесь!"

По проспекту — до площади. Теперь — к вокзалу. Там — метро. У перекрестка примыкает седой, пьяный, плотный, в мятом черном костюме. Ему необходим гривенник. Не даем, продолжаем движение. "Я вчера из лагеря освободился" — сообщает, указывая на чернильные узоры на руках своих и груди. "Я — тоже", — громким шепотом с придухианием. Поверит? "Мне до матери дое-

хать, до Луги", - глядит мятными глазами, сам пока прикидывая, я сидел ли? "Небось на бутылочку клянчишь? - ему с улыбкой. Обижается. Чуть не пл^тчет. Мы - идем. "Потому что мы с тобой одно и то же", - мне вдруг, обеими руками сгребает мою правую кисть и целует ее. Мы - идем. Мне непонятно, что это? Он говорит. Выпускает руку. Мы - в метро.

В проруби эскалатора - голос. Приглашает на работу. Вежлив и мягок. Чешет за ухом. На финише спуска - дежурная. Еще лицо ее - светотень без линий, но ясна причастность к вещанию: как бы она и декламирует в микрофон, хотя, бесспорно, не она и ей это известно, и мне, но вот, чувствую, как срашивается она с голосом и тут же, за этим, прет вся ее жизнь, смертельно-скучная - мне, неначавшаяся - для нее, вопреки (мы - близки - линии кромсают колобок лица) седине сквозь каштановую подковровку и негарантированному остатку существования в тайнописи морщин. Соскальзываю с рифлености эскалатора. Я - один.

В вагоне - безумная. Глаза ее воспалены, волосы вздыблены, одета неряшливо, на ногах - узлы вен. Замечаем друг друга. Мне понятно, что она - девочка маленькая и знает это, а теперь еще и то, что я - знаю. Восторг в глазах наших от встречи. Молчим, болтая. Куски жизни, года, столетия несутся мимо нас, а сами вращаемся в невесомости космоса. Она - безобразна, если оценивать ее как женщину, как объект. Она - потрясающа, она - ведьма, она владеет тем, чего лишены остальные пассажиры: им не услышать, не уловить нашей беседы. И еще. Она живая. Слоняется по вагону, переходя от одного сидения к другому, не теряет меня из виду. Следующая станция моя, когда приближается, но не садится рядом и даже не совсем близко подходит, будто нечто держит ее. Начинает бормотать. Слезы на глазах. Уже - рыдания. "Не дай вам Бог! Ой, Господи! Не дай Бог! Только не ходите, не ходите..." - "Что? Что вы? Успокойтесь" - и, не в силах скрыть главного, тревожащего: "Что не дай Бог? Куда неходить?" Молчит. Замерла. Ужас в абрикосовых костях глаз, в которых - я. Что видит? Кого? Кто - я? Выхожу.

Сняв трубку, Леша встретил молчание, но, когда решил почти, что аппарат испорчен, тот заскулил. Он задался вопросом,

с кем сейчас придется беседовать, но сигналы не обрывались чьим-либо голосом, так что возможно было предположить, что телефон добивается связи с абонентом-учреждением и в такое время (он оттянул рукав пиджака: двадцать тридцать шесть) большинство организаций - пусты. Беспокоило и то, что некто, вероятно, вот-вот снимет трубку, а он именно в тот момент, когда некто уже тянется к аппарату, положит. Несмотря на все это, трубку, безусловно можно и положить, тогда, если снять ее через паузу, сигнал, очевидно, будет непрерывным, но Леше представляется это нарушением чего-то незавершенного и он продолжает фиксировать гудки. Наилучшим решением мыслится выяснение, с каким номером соединен телефон и чей это номер, но вряд ли в столь позднее время дают подобные справки. Может быть просто не класть трубку? Тогда неизвестный (или группа их) на другом конце провода сам побеспокоится обо всем происходящем. И он, когда их разъединят, возможно, узнает этот номер телефона. Леша же его - нет. Никогда.

Подвал я сделал глубоким - метра три, да, пожалуй, глубже не надо. В нем размешу спортивный зал, склад красок, прочего художественного инвентаря, камеру хранения всяческих компотов, сиропов (будет сад!). Итак, три помещения: зал и две кладовых. Надо еще одно - для тайных утех (Ты, Ты, любовь! Единая во всех, несущих Тебя - мне!) Еще ход секретный, подземный, тянувшийся довольно далеко, к озеру, чтобы в скафандр и - нету.

Чудна постоянная планировка зала для тренировок - в подземелье. Это - от недостатка средств, скованность в поступках, и, увы, мыслях. Зал, безусловно, нужно разместить на первом этаже. Высота метров пять, площадь - тридцать: всевозможные снаряды, зеркала, подсветка. На первом этаже также: ванная (голубая эмаль, красный кафель, шампуни, в ней - Ты), естественно не та, что ставят в квартирах, а вмонтированная в пол, почти бассейн (где-то, Бог мой, все это есть и то, большее, на что неспособна моя социалистическая фантазия, подобная супу из пакетика, растертому в бесформенное, неживое).

На участке - пруд. Палки рогоза, шомполами проткнувшие гороховую сепию воды, под которой подразумевается нахождение почвы. Там же, наверняка, снуют какие-то твари, суетливая координация их должна походить на заполнение штрихом плоскости бумаги. Поплавками - лилии. Паровозиком утки: детки за мамой,

тревожа калейдоскоп ряски.

Мне не удается продумать все от первого пункта - территории, до последнего - начала жизни в доме. Тороплюсь, пересаживаю. Думается, лучше всего построить замок или приобрести подходящий для моего существования. Так, чтобы в нем разместить ~~лишь~~ все для комплекса бытия: наращивания физической и духовной базы, реализации творческой потенции. Недурно к тому же иметь и современный домишко, да еще конструкцию в городе, но это уж суперсовременно. Сплошная автоматика, сверхфантастические удобства - дом. А еще - машину. Точнее - три. Шикарную, громоздкую: будет мять песок, плавно кружить, выруливая, по мощеному дворику, слепя ночь. Вторую - самую модную, спортивную, отрывающую колеса от земли - такая скорость. Третью - для путешествий, фургончик, оборудованный для туризма. А еще собаку. Не одну - разных, хотя одну-то самую обожаемую. Это - эрдель - люблю их. Туркменские овчарки, бесспорно, самые мощные, бойцовые. Их - на вилле. В замке - доги. А, нет, соблазнительнее кого-нибудь хищного, к примеру, льва или - пантеру: послушная, бесшумная, сливается с темнотой бесконечных коридоров - чудо!

Стук в дверь. Надежда и страх - кто? Надо обождать открывать: недолго совсем, секунды, обманывая себя тем, что за этот интервал нежелательные визитеры отчаятся и уйдут, а те, кого ждешь - протомятся именно столько. Выдержав паузу, Леша отбрасывает крюк, удерживающий дверь.

Аркаша неизменен: костюм, галстук, остроносые ботинки. Зонт. Из всего - зонту внимание. Первоначальная ручка его - пластмассовая закорючка - сломалась, не успев, Леше, например, толком запомниться. Постоянно страшась неопределенных злых сил, облачающихся забияками-прохожими, контурами с красными повязками, Буков спроектировал и заказал столяру массивную лошадиную голову, призванную венчать зонтик. К обнове Аркаша выискивает фразу. Она произносится, когда Буков, зашторив веки, визирует зонтом пространство: "Не забалуешь!".

Аркаша бережет свое сожительство с оболочкой так же, как хранила бы, умей соображать, бабочка свои отношения с панцирем кокона, ведая, что суждено ей, его лишившись (обретя крылья!), не только проморгать крыльшками короткий век, но и служить мишенью для птичьих пород, и натуралистов, непогоды, что написано ей на роду жечь крылья о желанную лампочку и

бесполезно переминаться в затхлом гамаке паука.

Сохранение Буковым оболочки - самосохранение. Все в нем хрустит, подламывается, тает, лицо - рулон газеты, ее поеденность шрифтом-червем, глаза (скажу - маки) - маки, их отчаяние алости, предельность - что завтра? Последнее, что позволяет ему двигаться и разевать рот - оболочка, обманывая не только себя, других, но (вдруг?) саму жизнь.

Перед тем как поздороваться, друзья производят традиционную неозвучиваемую дуэль.

Буков: (утвердительно) Будем пить.

Леша: Да ну к черту! Сколько можно? Что же это, все?

Буков: Потом обсудим. Только выпьем.

Леша: Нет. Я тебе объяснял.

Буков: Сколько у тебя?

Леша: Какое это имеет значение? (Пауза, во время которой Аркаша, подобно рефери на ринге или аукционеру на распродаже, считает, ожидая). Пятерка.

Поздоровавшись, Буков проникает в мастерскую, но так, словно одной ногой, потому как быстро выскакивает на улицу и настигает магазин, где берет "что-нибудь злокачественное", теперь предусмотрительно забыв вторую ногу в мастерской, куда возвращается скоро, не обманув иллюзией своего отсутствия, похищивает: "Взбодримся?"

- Ты знаешь, стариk, у меня рос лук: я поместил несколько луковиц в форму из-под заливного, положил марлю, и периодически подливал воду. И все бы ничего, и ты, убежден, не чувствуешь, какой ужас надвигается за моими словами, но вот представь себе, что лук рос, упругие трубки, зелень, бродя крней, а я, знаешь, хватил скальпель, отсекал побеги и жрал их. А они - они сноваросли. - Аркашин смех - вибрация ноздрей и верхней губы - так гудит он, не раскрывая рта. Что - лук, когда забывает его сейчас то, как раздобыть средств, чтобы как-то где-то достать выпить. Леша тоже непрочно, потому что, мнится, тоска лишь ком в горле - запей и провалится, но, представляется ему, что разжиться спиртным - немыслимо.

- Старичок! - Вслед за обращением Буков затягивается, щурясь, и с мягким "Ну-у-у" выпускает дым. - Ты хвастался у тебя заначка на взносы? Давай до завтра, а? Сколько там? Треху наскоблишь?

- Да вроде того. А где возьмем?

- Были бы бабки. Пойдем поищем.
Они уходят.

- Аркаша, ты хоть и труп, но послушай. - Буков таращится, словно отражает лешино безумие, дающее право не получать упрека за подобную фразу. - Тебе даже легче исповедоваться, чем лицу, хоть как-то пристрастному, потому что тебе настолько на все наплевать, что перед тобой теряешь всякий словесный стыд. Впрочем, тебе не то что именно начихать, а просто для тебя чересчур сокращено разнообразие жизни, что, в итоге, одно и то же. Ты как лодка подводная, у которой из множества отсеков не затоплены несколько: ей и не всплыть, и не узнать, что наверху, и не сообщить о себе: тонем! - Аркаша манипулирует зонтом, не находя силы в средстве выражения мимикой того, как поражен он речью приятеля. - Так вот, коллега, поведаю тебе о ботиночках. Ты боишься одиночества? Да, что я?! В отсеке одиночества плавает мебель, хотя, прости, одиночество, пожалуй, тонет последним. С капитаном. Когда мы со своей старухой в очередной раз разбежались (я пил тогда лихо), она притаилась у своих, я - дома. Первые дни я поднимал бокалы за свое одиночество и его самое, единое, шевеля пальцами от восторга перед заваркой чая, жаркой яиц, закрыванием окон. Потом - тоска. Сновали мухи. Мало. Когда садились на пищу, я орал: "Убью!", махал рукой, улыбался. - Аркаша молчит, словно время назад упустил возможность заговорить, точно пропустил ход, а теперь ему уже не вступить в игру и остается одно - слушать.

Сейчас они исчерпывают путь по набережной до моста, и вот уже перед ними Невский. На набережной народу вроде и вовсе нет, проспект, напротив, оживлен: так в лесу существуют тропинки, изобилующие муравьями, и другие, на взгляд ничуть не хуже, где один-два насекомых, встречая коих, убеждаешься, что они и ты - случайность.

- Хотя ожили все предметы, от этого не стало легче. Вещи - молчали. И как-то я придумал игру в гости. Бросаясь от холстов к рулонам обоев (оклеивать стены), раскапывая один из курганов баракла, я обнаружил с дюжину детских ботиночек: крохотных и разных - кожаных, матерчатых, зеленых, красных. Их я выстроил на половичке у входной двери. Мне мерещилось, что явится какая-то особа, и, угадав, что меня посетили: улыбнется: "Гости?", и прозвучав, слово превратится в факт: детишки будут куралесить в доме. Но, знаешь, стало еще парши-

вее. Возвращаясь, я сам бормотал: "Гости?!" - а ведь никого не было. Обутки были моих сыновей.

Приятели замерли около витрины: в ней бесновались ломти стекла. Непривычность зрелища остановила их взгляды прежде, чем они сообразили, как в данной ситуации вести себя, и, пережив очень похожие мгновения, повернулись теперь, рассеянные, друг к другу.

- Я горбун, Аркаша, неповоротливый урод. Уподобляет меня калеке ни что иное, как мой талант, - начинает Леша тираду, но, ощущив неоткровенность в изъяснении столь важных вещей, задумывается, как достичь ее, в чем она? Почему, когда, кажется, выложил все, раскрыл все карты души, чувствует - соврал, хотя все - правда. А вот, иногда, мелет бессвязное и совсем не свое, как вдруг проговорился, выдал себя на пустяке, спохватывается - поздно. Он уподобляет откровенность подводному плаванию: так ведет себя собеседник - нырнул и нет его - это всерьез. Беседы с Буковым представляются обычным кролем: погрузилась рука, но, знаешь, появится, за ней - другая, так обе, сменяя друг друга, провоцируют возглас: "Скрылся!".

Туалет был не заперт, но закрыт уже, о чём горланила швабра, проткнувшая прямоугольник входа. Леша перешагнул древко и крикнул Аркашу: тот сверлил зритиком асфальт. Зашли. Та, что все-таки была женщиной, объявила что-то, но вяло, не используя той силы власти, которая дана человеку, когда он находится на рабочем месте. Привычно мочась, Леша ощутил на себе взор этого существа. Заметил также и то, что когда глаза туалетчицы направлены на него, то, на самом деле, она на него не смотрит и, наоборот, расположившись к нему боком видит всего. Лицо ее уподобилось фактуре дерева, точеной жуком, что напоминало чеканку. Крупные габариты же, именно головы, создавали монументальность, что в сравнении с мелким тельцем рождало подозрение, что голова не принадлежит телу, из которого вырастает, а собственность иного, отсутствующего.

Туалетчица начала что-то говорить. Из каких слов она строит речь, которую невозможноказалось разделить на фразы, Леша не разбирал, но смысл его достиг - так под стук телетайпа и гомон телеграфисток выдавливается серпантин ленты: "Дайте денег - будет бутылка". Леша передал информацию Аркаше; тот не входил с туалетчицей в контакт, застыв в попытке ее рассмотреть, словно не человек перед ним, а дым сигареты, и

не ясно, плавает в воздухе борода или нет ее, а когда почти уверен, что нет уже, чудится - есть. Опустошив карманы, они сложили деньги на малиновую ладонь туалетчицы: так высыпает человек мелочь на обшарпанную полочку аквариума телефона-автомата. Была еще речь, сообщавшая, что вино придется брать в ресторане, а им пока можно обождать в служебном помещении.

Помещение, как Леша уже сообразил, находилось между отделениями туалета, но вела из него еще третья дверь, - куда - неизвестно. Это оказалось таинственно, это направило Лешу в детство, а детство сюда - во внутренности общественной уборной на углу Невского и Мойки, но он почувствовал, что они, он и детство, могут сегодня не дойти друг до друга, не дотянутся, как не мог соединить в детстве крепление железного стульчика с брезентовым сидением, почувствовал и - бабушка, наклоняющаяся к нему, когда спросил ее: "А мы уже жили, да?" и собака, его любимец-эрдель, по мнению Леши, крокодилом подплывавший к нему во время их долгих купаний, и Люба, девочка из пионерлагеря: не вспомнить, в каком году и отряде были, да и как-то недолго дружили, но вот запомнил - Люба - что-то должно было случиться, нечто совсем необычайное, да нет, не это! - непонятное даже сейчас, могло произойти тогда - могло, но почему-то не грязнуло, хотя, часто, когда вспоминает ее, не оформившуюся в девушку, нескладную, мальчишку, когда попадает вновь туда, в вольер, где жили горлица и кролики, когда приближается к себе, стоящему против нее, сидящей: на плече - горлица, в руках - кролик... - это и многое, тоже детское, и после, отрянуло, меняясь, обретая вид пугающий - оно ли? Так кирпичи настораживают, когда привыкнув, вдруг видишь, дыры, прямоугольные и сквозные, в них чернота.

За этим, через паузу, явилось еще одно, детское, потерявшее дату в хронологии жизни, но тоже - в лагере: играл с кем-то в теннис, что, собственно, самим теннисом можно ли назвать, поскольку вместо ракеток - дощечки, вместо шарика - потрошеные кем-то сосновые шишки. Солнце сквозь сосны. Товарищ учит подавать. Голос. Леша озирается. Ребята. Воспитатели. Никто не окликает больше. Кто звал? Улыбаются. С ним шутят?

В проходной комнате-бытовке они встретили вторую туалетчицу, в чем удостоверял волчьего цвета халат, очень молоденьющую, совсем девочку (Люба! Люба!). Речь ее понятна и вообще та, внимая которой, догадываешься: человек где-то учится. "Мы,

собственно, не представились", - палец упер в плечо туалетчицы Буков. "Люба", - даже с улыбкой, будто возможно так кротко в этом подвале, но, прохладно как вода, разъединившая себя с воздухом целофаном льда. "Сидите, я пойду ~~помой~~", - не спрашивая ни о чем, неплотно притворила дверь. Они услышали урчание струи, отрыгаемой шлангом, увидели ее, ступающую в чрезмерно больших (такими огромными в детстве представлялись Леше скороходы) резиновых сапогах, в лужи, а шланг в ее руках - черный, лоснящийся, толще белых предплечий, выглядел одуряющее.

"Мама", - проник в комнату голосок, а за ним явилась девочка на дороге таинственной двери, в проеме которой молчали какие-то очертания, вялые от света малосвечной лампы. "Мама", - громче и пересекает комнату, не реагируя на них, словно не относя к действительности таких, наверное, обычных здесь живущих, процарапалась в щель, оставленную в мужскую уборную, где туалетчица инструментом, состоящим из древка и резиновой лапши, зафиксированной проволокой, пробивает непроходимость нужников. "Поспала, доча?" - увлекая проволоку, вылезшую из сливного бачка, вниз. Проволоку венчает красный полиэтиленовый колпачок от винной бутылки, а Леше рисуется - кисточка, и не вода отвечает истерикой на движения туалетчицы, а торжественные шторы отбрасываются от многообещающего ложа, на которое падает, изнемогая, Люба - чистая, красивая, нагая. И чем нетерпеливее ее желание, тем медлительнее движение руки: так лучник не спешит натянуть тетиву, предвкушая молниеносный полет стрелы, частью которой становится он сам - лучник.

На лестнице, ведущей в подвал уборной - шаги. То же движение ног через мужской туалет, и в комнату заходят женщина и мальчик. Хотя их двое, они создают впечатление количества гораздо большего и, мало того, как бы тянут за собой еще каких-то людей.

— "В ней было, конечно, в ней было... Из нее могло бы получиться", - глотает мысли Леша, глядя на пришедшую. Его, как всегда заново, удручают бездарность траты людьми своих сил, кажущихся безграничными, но, на деле, невосполнимыми для созидания своей личности, имеющей, быть может, предназначение, не выполнение которого наверняка влечет, кроме всех неудач в жизни, какое-то непостижимое наказание.

С ней парень, бесспорно годящийся в сыновья. Затянутый в ультрамарин школьной формы, опередивший физическим развитием возраст, он не растратил еще божественной силы, что дается человеку: это есть в нем, а еще - незагрубелость и свежесть, даже кожи, что, в сочетании с бесконечно длинными конечностями, демонстрирует избыток, именно ту неисчерпаемость, к которой припала пришедшая с ним и, если она пытается представиться бодрой, как старается расшевелить себя одолеваемый сном, то в нем присутствует та бодрость, которая, кажется, сейчас подымет в воздух, когда проснулся только, а уже свеж и прям. Если она лампочка, то он - напряжение сети, само электричество, рожденное мощью воды, и она, "пришедшая", постоянно проверяет это напряжение: как силачу необходимо щупать и любоваться мышцами, так она перемещает руку с бедра его - к паху, а, возвратив, вливается пальцами в колено. Как в зале тухнет свет, так он прикрывает глаза, отмеряя путь ее руки, раскрывает их вдруг, тогда Леше хочется сказать: "Ненормальный".

Она где-то учится и что-то ест. У нее есть или были родители. Как получилось, что она - здесь? Эта без возраста, без пола, напарница ее и, видимо, заправила всех тутовых дел, хотя, что ей может сниться? Какие у нее желания? Люба... Абсурд тянуть нить из детства в этот сортир: и не та, и ничего общего, впрочем, уже в том, что приходит мысль проследить что-то от того лета до теперешнего вечера - ночи, уже - смысл. Вдруг для того и явилась эта Люба, чтобы вспомнить мне ту, совсем не-похожую (а ведь какая была? Какой могла стать?), вспомнить себя и осознать, во что превратился... У нее удивленный взгляд. Ничего не знает? Можно ли в такой артели? С таким наставником? Или как раз можно, именно потому, что в данной компании, как с ядом - не действует, если черезчур много, как посреди болота: смрада и топи, на грани воды и воздуха - лилия. О чем думает? Чего хочет? Да, ведь где-то учится - решил. А почему мы не говорим? Или я так задумался? Нет, молчание. Аркада - в сне. Ты - молчишь. (Ты. Она уже - Ты?). Гости. Где они? Дверь. Таинственный ход в неведомое. Они - там. Пойти? Посмотреть? Дракон? Он съел бы их. А может, и съел? Вдруг там комната для любви или со всякими изощрениями? А если шайка? Убьют... Заговорить? У нее - дочка. Сама - девочка. Почему думаю так, если - дочка? Думаю и не удивляюсь. Пьян?

Дверь в неизвестное помещение самостоятельно закрывавшаяся не умела и, открытая, манила. Леша поглядывал на нее, шарил глазами по щели, сосущей из помещения свет. Мягко повторяя корпусом углы косяка и двери, из неисследованных пределов выступила кошка, мурлыкая, виновато-беспечно (чтоб не обидели? полюбили?) коснулась зеленою медью глаз сидящих, и, втекая в пространство, отведя взгляд, но, сохраняя сидящих в поле зрения, заглянула в мужское отделение, где Люба, переговариваясь с дочкой, сбивала чавкающей струей с кафеля коричневую помаду. Люба выполняла обязанности, не задерживая взгляд на стенных росписях (надоели? безразличны?), точно их и вовсе не существовало.

Вначале она помнила их всех и добавляла нового, воскрешая впечатления, оказанные на нее каждым, причем впечатления эти совершенно менялись со временем: то, что ошарашивало, не вспоминалось с трепетом, и, наоборот, совсем незаметное, деталь, прожигало. То, что она выглядела моложе своих лет, привлекало к ней мужчин, - знала это - и, порой, неопытные или пьяные, потея, они замирали: "Первый!" Чувствуя восторг их в движениях и взглядах, она усиливала его удивленным взглядом, как человек, в доме которого в отсутствие ~~ши~~ его все перевернули: "Что это?"

Она разделяла их на мужчин-зверей: требовательных, немногословных, рычащих, побаиваясь их, подобной учительской, строгости, хотя знала, что с ними ее не ждет ничего непредвиденного ; на мужчин-баб, те ждали чего-то от нее, но не понуждали, а томились, будто не ведали, что им надобно ; на мужчин-детей, - они болтали без удержу, точно оттягивали то, за чем явились, а потом, вдруг, как бы случайно, словно какую-то нелепость, быстро, нежно и совершенно обычно исполняли свое желание и, еще не начав одеваться, принимались болтать, ~~болтать~~. К этим мужчинам-детям она ~~якимских~~ отнеслась вначале зло, подозревая, что они пытаются своим поведением, как бы не замечая того, унизить ее, раздавить. Потом же до нее дошли их неуверенность, внезапность того, чего сами ждут.

Она удивлялась себе, как, вначале, после первых встреч, легко, даже с интересом и, чем дальше, тем с большим азартом искала новые неожиданности в своих встречах, которые, чаще всего, происходили за той таинственной дверью, столь впечатлившей Лешу. Постепенно, открывая цену тех форм радости, которые извела, узнавая стоимость своего тела и возраста, а еще стремление, но и презрение, почему-то, мужчин к некоторым, открытым ею вещам, она научилась упрямству и уклончивости во время, без-

молвных обычно, торгов за то или иное удовольствие.

Ты нравишься мне. Я бы хотела... Да нет, не я, то есть я, но другая, которой уже почти нет, а теперешняя, которой больше гораздо во мне, целой - не хочет. Я бы сама подошла к тебе, встала на колени, склонила голову...

Загадочно-молчащая, ты идешь, меня не замечая, и, кажется, чужда тебе сущность, хотя, знаю - такая же, как прочие, а прочие - как ты, но в бесчисленных отражениях, меня пленяющих,ступаешь ты, загадочно-молчащая.

Первая туалетчица все-таки вернулась, вбежала резво, а в запертую дверь уборной послышался оживленный стук. "Ну, сегодня будет!" - попыталась выразить речью. "А я тебе говорила!" - зная цену своей интуиции, молвила "пришедшая" и рука ее заторопилась по бедру школьника. Бутылка оказалась одна, что всех огорчило, направляя злость за удаляющимся словом "наценка". Леша кивнул Аркаше, что означало "нас кинули", тот приблизил плечи к ушам: "А ты чего ждал?". Первая туалетчица вышла с "пришедшей" в мужское отделение и, не подходя близко к входной двери, словно их могли достать через сантиметры дерева, они принялись пугать ломившихся милицией. "Сейчас телефон наберу - сразу приедут", - сурово проговорила "пришедшая". "А где у тебя телефон, в лохматке, что ли?" - отозвался голос задорно-устало: в нем не различалось ни желания дубасить в дверь, ни драчиться с возможными защитниками туалетчиц, а неосмыщенное повиновение судьбе - именно сегодня, ровно в этот час барабанить в дверь общественной уборной, не имея возможности даже выразить потребности в такой необходимости отомкнуть ее, как только: "Открывай!"

Отчаявшаяся успокоить неурочных посетителей, туалетчица и "пришедшая" возвращались, когда от местонахождения их по всему подвалу промчалось безутешное мычание и, пока никто еще не определил словесно что это, словно все ждали повторения звуков для подтверждения своих выводов, "пришедшая" уже покашливала, обозначая смех: "Это я поднапряглась!"

Может быть, а кто знает, и, наверняка, ему не стоило притрагиваться к принесенному. С него явно довольно. Дальше ждут только неприятные ощущения. Он не сможет закрыть глаза (вот

уже - не может!), потому что будет пугающе мутить. До чего завидует он подобным Аркаше: они в силах одолеть любое количество алкоголя, после чего беспечно завалятся спать до того времени, пока их порочный организм не потребует привести себя на исходные рубежи новой порцией спиртного. Да, ему это не дано. Он - мученик, и хотя знает это, все равно пьет, значит тряпка и болван! (Так тебе!).

Первая туалетчица взглядала на Лешу украдкой. Улыбалась. Это - восторг и смущение - красивый! Короткий взгляд, и она не несется даже, а молниеносно перемещается в очень далекое время - в детство, когда была такой же как все, равной, в том смысле, что все еще предстояло. Песочница у трехэтажного заводского дома, аккуратные игры ее, слова, которые произносила каждое, как-то подчеркнуто отдельно, с почтением, но и экономно, выдержано - не поверишь, что та девочка (как звали ее?) сидит теперь здесь, упервшись головой в ладони, локтями в колени, стопами в пол - она ли? (Глянь!) - и воровски схватывает, давясь, изображение недолгого гостя.

Задумавшись, он находит себя в забытом парке, ставшем уже почти лесом, где сохранение следов парка создает тайну. Дорогу прерывает пруд, переходящий в болото. Можно проделать еще несколько шагов, сколько - неизвестно, потому что неясно, где под изумрудной травой захлюпает вода. Водоем отделяет Лешу от здания - не то дворца, не то церкви, что оказывается неопределенным в его фантазии, становясь попеременно тем и другим. Внешние стены здания в порядке в смысле ненарушения их целости, внутренние же перегородки отсутствуют и дом представляется обманом: негде укрыться, неизвестно что отвести под спальню, под кухню, если в нем - жить. Надписи на доме, выполненные в угле и краске, кажется ему - сейчас прочтет - нет, не выходит. Внезапно в нем пробуждается желание самому изобразить что-нибудь на корпусе здания. Ему становится смертельно понятны те, кто умудряется произвести самую дурацкую запись на кажущихся недоступными местах. Он ощущает их, видит, взглянувши - одного, воплотившего всех, вскарабкивающегося, холодеющего - сорвусь! И не сам ли он, Леша, постигает этот путь?

Леша сидел рядом с первой туалетчицей, а она - рядом с ним, порядок же зависим от того, на ком мы хотим остановиться, так вот - Леша... Имея двумя опорами плоскость стола и восстановленный от нее перпендикуляр стены, жизнью туалетчиц играло зеркало, мутное и с пустотами в амальгаме, сквозь которые видна все та же волчьего цвета стена. Леша, не зная, в каком участке зеркала отражен, заглянул в него и не сразу понял, что встретился не с собой, но до этого произошло следующее: взгляд его пал на унылую свеклу туалетчицы и, ожидая почему-то увидеть себя, он на какое-то время оказался абсолютно адекватен туалетчице, что пронзило его ужасом, когда вернулся в свою прежнюю оболочку и отыскал свое одуревшее лицо в ржавчине иллюзий.

Наконец-то я! Хотя как-то не сразу. Некоторые время чувствовал себя матерью: так же, как она, испугался чего-то и, чтоб не дать прочесть это на своем лице, засопел носом, его наморщив, что,казалось, еще больше выдало отвратительный страх и еще какую-то вдруг появившуюся неопределенность - кто я? - когда очутился вдруг отдельно от своего тела. Чтобы скрыть эти два неудобства - насупился, вздохнул тяжело, исподлобья огляделся, словно совершил что-то неразрешенное, и теперь выясняю взглядом - заметили?

Вначале были: лицо, руки, голос. Это -мама. Человек дал жизнь слову. Теперь привычное "мама" - что в нем? И не оно ли дает жизнь человеку? Убрать его и что же? Кто передо мной?

Как сразу ищу слово здесь, в уборной, нарекая встречных ~~шашки~~ "туалетчицами", "пришедшей", "гимназистом", чтобы обмануть себя, подменив неведомое, не имеющее имени, трафаретной светкой слов. "Туалетчица" - и за ней множество других, виденных, а также уборщицы вообще, дворники, лужи, асфальт, запах, стекла. "Пришедшая" - и, налезая друг на друга, громоздясь, торговки пирожками, и мороженным, какая-то женщина, когда-то зашедшая в вагон, где сидел я, другая - на берегу залива, загоравшая: еще - неясные, неподчиненные буквам. "Переросток" - и я сам, годами раньше, с женщиной, гораздо старше меня, так и не известной по имени: позвала с собой, не понял до последней минуты, что от меня потребуется (вот странно: знал об этом и, понятно, знал, зачем позвала, а в то же время - не знал!) и испугался ее пьяной откровенности в комнате, где спал, как оказалось, утром, и сын ее - тоже школьник. Я не смог,

конечно, вести себя с ней, как этот парень, не в силах перебороть стеснительности, но до чего отчетливо чувствуя себя - им.

Леше подумалось: "А почему бы и не поселиться в этом сортире?" Причем желание его было обжить именно то, неизвестное помещение, или ряд их, извергшее уже дочку туалетчицы, кормящую кошку (где-то там, боже мой, и котята!) и дважды поглотившее "пришедшую" с переростком. Действительно, он бы скромно обитал в подвале, встречал Любу после невозможной работы, да и первой туалетчице участливо кивал в ответ на ее безударное мямлянье.

- Не надо меня бояться. - Голос новый - старика, явившегося на пороге тайны хранящих пределов. Наверное, страшно ему, что говорит это - так лают собаки. Кто он? Как чудно! Первая туалетчица - просто ничто, пыль, а сколько нагородил он вокруг нее: что он, сумасшедший? Вторая - проста как бумажный пакет - нет ни в ней, ни вокруг нее, ни где еще (хоть где-нибудь, боже!) капли того, что мерещится ему. Откуда догадка, что знал ее, что она - не просто организм, а нечто сверхъественное, нечто, следившее за ним всю его жизнь, могущее обрести иную форму.

Теперь - дед. Кеды без шнурков с материалом выцветшим, что делает их молодежными не только по назначению, но и по моде. Тренировочные брюки - двумя белесыми стручками, надавишь - зерна, так рельеф ног - в них. Пиджак, под которым, видимо, одежды - никакой, потому что в щели лацканов - сдувшаяся резина тела. На пиджаке - награды. Блеск и позякивание их - внезапность для гостей - как вести себя? Человек - герой в прошлом, другой - сейчас, видно это - пьяница и безумец, при чем тут остальные? Как обращаться к нему? Как обращаться с ним?

- Кто это? - касается Леша любиной руки.

- Дедушка.

- А что он? - жест рукой, просящий конкретности.

- Живет здесь. - В голосе нет желания удивить. Та же кротость с какой представилась им. ("Как я люблю тебя! Мне хочется перечеловать тебя всю, даже эти грязные сапоги, просто умереть у тебя на глазах - что со мной?!")

- А как он, родственник? Или вот, работает, может быть, сторожем там. - Леше хочется ясности хоть в отношении дедушки: старик мочится, кряхтя, совокупляясь уж, конечно, не может, не пьет, а втягивает чай, по-стариковски жадно, словно пытаясь еще что-то получить от жизни: горящая спичка, укорачива-

ясь, не обжигает бесчувственных окончаний его пальцев.

Люба молчит. Или сказала что-нибудь. "Что?" - тянется к ней. Да, молчит. Ему все равно до конца неясно, молчала она в то время, когда должна была сказать что-то, хочется спросить еще раз, но чувствует - не надо - такой вдруг сигнал: не повторять вопроса.

Дедушка время от времени произносит: "А как?" или "Где-то, что-то". Леша настораживается, готовый услышать что-то, следующее за вступительными аккордами, но продолжение обесцвечивается молчанием - дед сопит, ерзает, кажется, засыпает, как вдруг: "А почему?" - это представляется Леше взвешенным курка у незаряженного пистолета. "Бесплодность", - косится Леша на старику. У того лукавые глаза, хотя лукавство их сродни тому, что начинает таинственным смыслом морды забитых свиней, завершая весь их необъяснимый вид превосходства щелью полуулыбки. Леша вспоминает старуху, которую встречает в угловом магазине. Старуха после удара, и шевелит только левой половиной своего организма, а неразговорчивым мудрецом (может ли произнести что-либо, кроме разного, впрочем, в интонациях "э-а") творит ее все та же самая ухмылка.

То, что необходимо уйти, оформилось у Леши в слова после того, как проявилось как некая сила, влекущая его из уборной и оттого необходимость эта оказалась в прошедшем времени и было даже несколько приятно медлить, перекладывая слова и буквы ниспосланного решения: так можно медлить заткнуть кровоточащую рану, отчего-то вдруг затормозясь и находя наслаждение в созерцании раны.

Поскольку сегодня-вчерашняя игра окончилась, Аркаша оказывается больше ни к чему, и Леша не стал будить увешанного слюнями коллегу. Первая туалетчица усталым голосом общалась с кем-то, доказывавшим свое существование только криками и вялыми ударами в дверь. Леша, щадя себя от встречи с мужскими особями по ту сторону, подошел к таинственной двери в неведомое, прилизил к ней ногу, потому что как и все прочее здесь, она не была чиста, но даже любой предмет с надписью "стерильно" не вызвал бы в нем желания с ним контактировать в этом подвале. В детстве мать настолько запугала его всевозможными инфекциями, что он боялся на улице прикоснуться к

предметам, притронувшись же к чему-либо, из чего наиболее странными были поручни в транспорте, несколько дней переживал и как бы уже боролся с приставшей заразой.

Света хватало для угадывания очертаний предметов, что он заметил прежде, чем увидел переростка, лежавшего, в общем-то у входа. Оголенные части его тела воспринимались сейчас пустотами во всей фигуре. Он был освещен, и источник света двоился в его зрачках. И уже третьим этапом, хотя, казалось, все должно иметь обратную последовательность, Леша обнаружил "пришедшую" — она сидела рядом со школьником и получалось все так, словно и мальчик, и, особенно, "пришедшая", материализовались по его воле, подчинившей какое-то воспоминание.

Продвинувшись, Леша слоткнулся, как догадался сразу, о веники: ими оказалась забита большая часть помещения, как понял он по шуршанию их, сползавших. В массе веников поблескивали ведра и, падая, веники кололи иглами веток цинк — был раздраженный звон жести.

Он уперся в дверь, нашупал ржавую (так шершава она) ручку, сквозь которую было продето топорище. Вытаскивая его, Леша вспомнил, что так уже происходило в его жизни и, напрягая память, он продолжал освобождать для себя выход, распахнул дверь и вышел во двор, в левом конце которого расширился зрачок подворотни. Ощущение повторности исчезло, он очутился на набережной и теперь двигался, поглядывая на окна, будто ждал кого-то увидеть.

Впереди — фигура. Догнать, или сохранить темп, равный ее шагу? Лучше слегка ускорить ходьбу, провоцируя фигуру возможным опережением. Что она? Поравнявшись, можно взглянуть — характер взгляда, время его определяется в те мгновения, когда окажусь почти на одной линии и тогда же, после встречи глаз, станет ясно, как вести себя дальше: отстать ли, что явится выжиданием, шагать ли в ногу, что почти обязует к общению, или набирать темп и дальше — до свидания?

Не догнав, но приблизившись, Леша определил идущую впереди фигуру. Лучше всего сбавить шаг, отстать, затеряться в одной из подворотен. Но поздно. Инерция влекла его, а также возможность того, что обернется и его увидит, чего ж прятаться? Как вести себя, сейчас, когда настанет пора заговорить?

Очевидно, предельно развязней, чтобы стать на одну ногу, чтобы внести ясность, о чем идет речь, хотя какие планы у фигуры? Те же? Он ляпнет, как штукатур пригоршню раствора, словно наугад, но, зная, как размазать его, чтоб попало куда надо, что-нибудь вроде: "Проветриться?" имея в виду, конечно, как и маляр - не оставляет на стене серый карбункул, - совсем иное.

Он настигает. Тронуть за плечо? Надо ли? Да, всё чувствует. Поворот головы. Улыбка. "Проветриться?" - спрашивает Люба.

Кисонька моя, оранжерея (ему вспоминается теплица, мимо которой проезжал, когда жил ~~в~~ дома, свет в ней за стеклами от белого до крутого медного купороса, растения, живущие в ней, упершие тыльные стороны листьев, подобно ладоням, в стекла, словно отодвигая от себя двухмиллиметровую близость зимней ночи. Запустив взгляд в оранжерею, ему мечталось оставить его там, надеясь приплусовать к этой единице - взгляду - часть себя, вроде бы самую суть, а самому, остальному - бежать, бежать, бежать!). Сейчас ты - все! Дай расщелую ручки твои, ножки. Нечистая? Ну и что!? Ну и что!? Любимая моя! Ждал, как ждал! Ты ведь утешишь меня, да? Утешишь?

- Да, утешу, успокойся,тише. Что ты все кричишь? И дышишь так? Я же - здесь. Я сегодня какая-то новая, хотя столько уж прошла. Прости, говорю, ты же говоришь и мне не хочется скрывать: такая я, да. Да ты знал, правда ведь? Ну, чего молчишь? И знаешь, будто что-то новое узнаю. В этом...

Она чувствует в нем и зверя, и бабу, и ребенка: и говорит и ласкает, томится и требует - хочет. Каждый вздох - взмах крыльев и - полет, но видит себя на прежнем месте и снова - взмах. Поздно, непоправимо и поздно, она - ничто, почему не тогда в белые ночи, в крепости, в бойнице, как поняла потом - вонючей (теперь - привычный запах и ведь не учится - врет. Да разве только это?!) парень прижал, а заманил, обещая показать вид на город неповторимый - поверила, а он обнял, дышал в шею и скреб руками, словно соскальзывал с такой же стены, над которой они боролись в тесном цилиндре бойницы. Как был красив - вспомнила потом, как хотел ее - не ее - почти любую - тоже вспомнила, но все могло образоваться потом, после, а если бы и обманул, то она не винила бы, молясь на ошелелый взгляд, упершийся в фантазированный вид города, небывалый, на волосы, пахнущие паленым (листья, осень, дым), на скребущие, неумелые руки - она бы молилась: и не он ли сейчас губами охотится за ее волосами, бормочет что-то сумасшедшее, а сколько нетерпения в звуке падающих вещей - отбрасывает, расшвыривает

бараクロ - милый! Он, он! И не отпустит его - без него теперь - нельзя! Как все в нет то же, неужели бастион опрокинулся, потеряв из поля зрения неповторимый вид? Ты, ты это - ты! - кричу, плачу, и что же? - Предаю, предаю себя, все то, что помешалось и дрожит сейчас, не зная о себе - есть ли? Пусть не останется мыслей, слов - одно падение мое. И, радуясь, плачу: "Прощай!".

- Милая, я говорю много, хотя всегда - молчу. Сегодня какой-то последний день, не могу определить какой, но важный, такие в календарях - красные. Ты не представляешь себе, сколько ждал я тебя, именно такую как ты, замызганную туалетчицу, милую, трепанную, невинную, развратную - прости и не обижайся - я пьян, мне, может быть, завтра - умереть, знаешь, это же внезапно и, хоть очень похоже на трепатню, кончается действием, когда, перед ним, кажется - знаю, задыхаешься, как сейчас будумствую перед твоим телом - восторг и невозвратимость - все! Я все вру, не слушай, это - не бред, а так, недержание, аукцион незавершенного, онанизм, хотя, видишь, люблю женщин, что доказал почти. Терпение. Ну, прости. Это, действительно, последнее. Завтра один цвет - темнота.

Поцелуи - это землянички лесные, давящиеся о его лицо, шею, бедра... Как возвратиться оттуда, куда несет его вид ее тела, взгляд? Что за чудо в расстановке на свои места всего того, что почему-то именно сейчас крутится в черепе: правильное питание, исполнение плакатов по гражданской обороне, мама... дети... И почему болтает о том, что не подчинено словам, зачем тараторит, словно оправдывается, ведь не совершил ничего?

- Ты знаешь, Люба, я чуть не откусил язык, когда открыл истину в грубых и будто нарочно искажающих естественные контуры - линиях. Они - верны! И верны пропорции, утверждающие туловище к двум головам, а руки - к носу. Цвет. Два - это уже бездна открытый, теряющихся в непостижимости, когда можешь только ощущать, что оно, невыразимое, есть, также как муравей, обшаривая бесконечно малую часть поверхности гранитной глыбы, ощущает за ней присутствие невообразимо большего.

Наверняка не спит, а потчует меня обманом. Что ей, если изолгались и стены, и небо, и даже котлеты. Почему-то людей с похмелья стараются изобразить беспамятными. Не так. Писателям

прочим, наверное, странным кажется начать воспоминания пьяницы с самих событий: "Вчера я так нажрался, что вместе с грибами на зиму закатал в банку свою совесть!". Боятся изобразить некий отчет, поэтому разбегаются: "Что же я вчера натворил? Совесть? Где она? - вот так. Я, например, совершенно отчетливо помню вчерашнее - безумный сортир, и "старшую", и аркашкин распад. Странно только, что он не возвратился в мастерскую, может быть, его увез бежевый слон? Бежевый слон - это сейчас и, пожалуй, ничего. Такое, вроде троянского коня - вместимое, не без подвоха, в том плане, что с продолжением, раз "в толще веков", то и с юмором, ничего, мол нечеловеческого - доставляем, отрезвляем - все для вас. Цвет - вполне официальный, но не пугающий - не красный, не черный - нет в нем активности. А то, что слон - самое забавное - он же ведь уже наш, слон, добродушный, с ушами-простынями и назвать его почему-то хочется Дружок или Шарик, а хобот какой - вещь серьезная, но тоже в основном для развлечения ребятишек - вот дядю Васю, служителя, водичкой полил из ведра, а очкарик и доволен, и щурится добро на питомца, а млекопитающий ему по копеечке у посетителей с ладошек собирает и так нежно, осторожно.

Сейчас круг солнца с воткнутыми в него с двух сторон рыбами облаков напоминал компас, а по цвету оказывался похож на брошку: у лешиной матери была такая - рубин, окаймленный жемчужинками, и все это вставлено в золотую коронку, раскинувшую два изящных плечика. Замочек у брошки был неизменно сломан, хотя кто-то брадся за ремонт и, вроде, чинил, но в исправности брошку Леша не помнил. Калеченное украшение трудилось на семью: Леша видел его несколько недель в году, остальное время брошка гордо топырила плечики в Ломбарде.

Он очутился в Крыму: так похож стал воздух, то же дрожание его и пыль в нем сладкая, а, главное, знание того, что также, как годы вспять, зайдет сейчас в столовую и возьмет себе порцию творога, стакан кефира и кусок хлеба - худел, да и деньги...

Так же, как двенадцать лет назад, имея перед собой общепитовскую тарелку с морковью тертой и венчавшим ее глотком сметаны, орала и выла моя душа, разорвавшись вдруг от одиночества, а друг появился и предложил денег на обед - также - постигая ступеньки - голос: "Может быть останешься?" - и - вопль

души, почему-то не умершей еще, крик от доли своей - один! Один!

Друг рядом - ступеньки вниз. Дом. Он - может быть, со мной, если, может быть, то... Желание его быть где-то, где я, не зная воли Бога на печаль мою, на то, чтоб шел я до одра - один, один!

Поезд. То же безумие, что и в каждый праздник - во мне. Энергию всеобщую принимая, вот-вот перекалится мой рассудок и забуду я день и имя свое, чувство грани безумия особенно остро в этот день, имеющий час, и час, имеющий минуту, последнюю минуту, секунду - мгновение! Все! Год кончился. И как хотелось мне куда-то, чтоб видеть кого-то, необходимого, так равнодушен я теперь ко всему, и, кажется, умер, но нет - живу, и дышу, и вижу, и (поверю ли?) хочу кого-то видеть. Но не сейчас.

Он чувствовал себя так, точно отоспался за все свои нелепые бессонные ночи. Шел, и чудилось, как давно - в детстве, взлетит. Знал, что не летал никогда, но мечталось, мог, и, начиная ворошить память, настораживался: "Не летал?" Леша сложился булавкой, упервшись животом в грань перил, и почувствовал себя полотенцем, почему-то махровым, перекинутым через гулкие перила балкона, крашеные, конечно, черной краской, халтурно, а потому местами сквозь нее - ржавчина. Вид представляется снизу, на балкон выходит, но он не успевает увидеть как, только знает: молодая особа что-то такое производит, и даже не столько желая обратить на себя внимание, сколько повинувшись вдруг принятому сигналу выйти. Потом - в комнате, движение, а снизу, в пространстве, оставленном поеживающимся полотенцем - ноги: она ходит, а потом садится в кресло, которое рядом с балконной дверью (он не видит это, а знает), удобно (как ей мнится) устроившись, то есть навалась на подлокотник, закуривает. Дым. Поглядывает в потолок.

Отпрянув не резко, а полуночно от перил, Леша зашагал куда-то, где вскоре, должно быть, набережная соприкоснется с площадью (он это знает лет с пяти, просто дурачит самого себя). Разъяв скрепленные на груди кисти, он ныряет вместе с руками в карманы, где в правом пальцы приветливо встречаются с ключами, обожающими носиться наперегонки по проволочному кольцу: один - привычно входящий в свистящую скважину - от мастерской, второй - ригельный, по-сиротски оскалившийся, не нуждающийся в участии своего владельца - от дома; левая ладонь, знающая коварство кармана, все же проваливается, чтоб не портить с ним отношений, в дыру. Художник замедляет шаги, зажмуривается и в нем (для нас)

а ~~и~~ вне его (для него) как-то вместе возникают изглоданные деревянные сваи, торчащие из кофейной воды на кладбищенской реке и замок (большой, настоящий, с тайнами и подвохами, и, что замечательно, его - лешин), где-то в горах, над которыми вспыхивает солнце (оно действительно вспыхивает совершенно внезапно, вспомните - не дождаться, только радостная полоса, еще раз посмотрели - все нет его, и вдруг нате - горит, сияет, слепнешь!), а он прогуливается по каменным плитам, швыряет эхо шагов к высоким сводам, где свесились, испуганно покалывая его глазками, летучие мыши. Вслед за этими двумя картинами ему является чайник, найденный в шелесте чьих-то тетрадей и грусти брошенной мебели приговоренного к сносу дома: желтого металла чайник, очень не новый, который, если окружить его красными яблоками, уложенными на черную ткань, будет потрясающе корежить их отражения, рождая новую жизнь.

Клубника в пакете газетном. Тянешь носом, смотришь. Разной плотности цвет ягод, озорные дужки черенков. Вид ягод в пупырышках - рыцарский. Вспоминаешь наперсток, бабушку: платье, которое всегда длиннее спереди, чем сзади, что усиливает ее сутулость, хотя является всего лишь равным отражением, чулки цвета спелых желудей, такие же морщинистые на коленях, как овальные мордочки (коленки!) желудей - осенью, что отмечал про себя, "запас", туфли домашние, мягкие: серое поле с черной клеткой, что связывал почему-то с родиной ее, шепча: "Дания". Под туфлями - пол. Половицы. Каждую из них помнил, между ними - земля, блестки чего-то, стекла?

Помыть ягоды? Или есть так? Мать пугала - нарочно ел немытые - умру!

Ягоды похожи на нос мамин и бабушкин. Его? - Нет. Пока без холмиков угрей.

Он, видимо, съест не всю клубнику, а часть ее и - начнет.